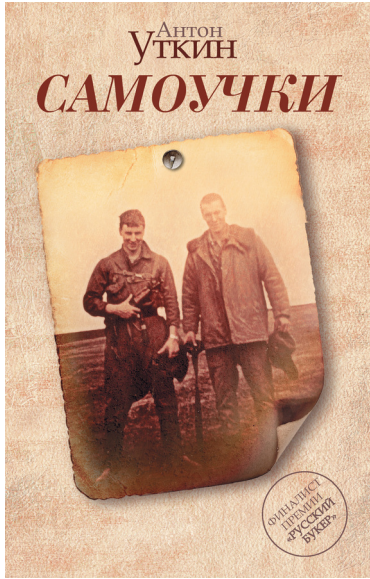




Антон Александрович Уткин

Самоучки

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4990101

Уткин, А.А. Самоучки : АСТ, Астрель; Москва; 2010

ISBN 978-5-17-069098-5, 978-5-271-29608-6

Аннотация

В начале бурных и непредсказуемых 90-х в Москве встречаются два армейских друга – студент и криминальный предприниматель, приехавший в Москву заниматься сомнительным лекарственным бизнесом. Дела идут неплохо, но мир большой культуры, к которому он совершенно не причастен, манит его, и он решает восполнить свое образование с помощью ученого товарища. Их аудиторией становится автомобиль – символ современной жизни. Однако цепочка забавных, а порой комичных эпизодов неумолимо приводит к трагическому финалу. Образ и дух времени переданы в этом произведении настолько точно, что оно вызывает интерес у разных поколений читателей.

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

30

Антон Уткин

Самоучки

*Нам мнится: мир осиротелый
Неотразимый Рок настиг —
И мы, в борьбе, природой целой
Покинуты на нас самих.*

Ф.И. Тютчев

Несколько лет тому назад я, еще не закончив образование, начал писать для одного модного журнала, выходившего под претенциозным девизом наподобие следующего: «Вы понимаете, что происходит». Надо оговориться, что ни тогда, ни позже как раз никто ничего не понимал из того, что творилось вокруг. Вчерашние школьники и отставные военные, товароведы и прорабы, превратившиеся вдруг в «крепких хозяйственников», воры вне всяких законов, сомнительные авторитеты и убежденные домохозяйки в мгновение ока наживали состояния; город лихорадочно реставрировался, а в раскрашенных граффити подъездах запахло сушеной коноплей. Шальные деньги кружили голову, и отнюдь не только тем, на кого просыпались сладостным и неожиданным дождем. Они легко приходили в руки и исчезали тем легче, как дым. Их провожали рассеянными улыбками и о них не слишком сожалели. Все стало можно, все оказалось рядом.

Кухня, наша московская кухня, — этот «английский клуб» застоя, парламент молодости, средоточие умственной жизни, — превратилась вдруг в скучную комнату для приготовления пищи. Ароматы таящейся под спудом свободы, пряные, волнующие ароматы откровений, мистических эманаций, полетов мысли и души, сменили запахи импортных полуфабрикатов, а священный чай стали заваривать прямо в кружках — тоже импортных, толстых, как ноги слона или поленья, поставленные вертикально. Переселения, отъезды следовали один за другим бесконечной чередой, и старым друзьям нельзя было больше позвонить, набрав, к примеру, 241..., а требовалось путаться в мудреных кодах экзотических стран, то и дело рискуя угодить к девушкам, для которых нет, так сказать, заповедных тем. Либо приходилось старательно выводить на почтовом конверте что-нибудь вроде: «Улица полковника Райналя, Лион...» (все это, конечно, по-французски).

Появились круглосуточные услуги и не закрывающиеся на ночь кафе, танцевальные заведения, которые пышно именовали клубами. Там, коротая свободные вечера, веселилась молодежь, и в самый глухой час ночи, когда шаги прохожего на пустынной улице раздаются за километр, заведения были полны беспечными людьми. В воздухе, повитом дымом модных сигарет, реяли соблазны и предчувствия, и даже девушки здесь оценивали себя баснословно, словно были принцессами исчезнувших королевств. Неистовствовала музыка, и люди, большинство из которых никогда не покидали пределов кольцевой дороги, ощущали себя причастившимися всех тайн огромного мира, по-прежнему парившего в безбрежности темных галактик.

Мой редактор, такой же, как и я, молодой человек, — ниспровергатель устоев, которые, скажем прямо, пошли трещинами задолго до его рождения, и бунтарь, впрочем, в самом узком смысле этого слова, а заодно неистовый почитатель Набокова и Джойса, обрушивал на меня мутные потоки своих восторгов.

— Старик, — восклицал он, — ты только подумай! На десяти страницах описывается, как человек — не кто-нибудь, а человек — испражняется. И это прекрасно!

Как бы то ни было, я терпел подобные разговоры единственно потому, что обычно они скрашивались чашечкой-другой превосходного кофе, который в редакционном буфете умели готовить выше всяких похвал.

Кроме того, как это делают все редакторы, он частенько вымарывал из моих репортажей именно те строки, которые мне нравились больше всего, и заставлял вписывать другие, писать которые я не имел никакого желания.

Именно в это время редактор был одержим новой концепцией нашего журнала – его владелец выкупил старое название, под сенью которого бывшие хозяева, наследники великих диссидентов, в протяжении всех мрачноватых перестроечных лет насаждали демократию с той же страстью, с какой некогда император Юлиан¹ насаждал культ Диониса на просторах своей собственной, трещащей по швам империи.

– К черту этот хлам! – кричал редактор. – Нам интересно все, что подсмотрено с черного хода. За что мы платим. Кто на что живет, кто с кем спит, кто чем болеет... Вот тебе вечные ценности, – неизменно добавлял он, устало отмахиваясь от табачного дыма, которым исходил я, словно был огнедышащим драконом, а не добропорядочным гражданином государства, обновленного до такой степени, что оно как будто уже не существовало. – Старик, пойми, побольше натурализма. Пора открываться.

Словом, это был человек восторженный во всех отношениях, больше всего на свете любивший здоровый образ жизни, на который у него не было времени, жену, которую боялся, и детей, с которыми не знал, что делать.

На этот раз нужно было как можно быстрее создать рубрику под названием «Мои неудачи». Героями нового раздела, подробности которого, по мысли редактора, обязаны были завоевать внимание публики, должны были стать люди желательно молодые, испытавшие на себе все превратности липкого от крови, страшного и соблазнительного времени. Идеалом здесь мог послужить персонаж, который начал бы с того, что учился конструировать самолеты, а закончил – этакий несостоявшийся ученый – их продажей, в мгновение ока наживший миллионы, разорившийся и готовящийся нажать новые. Или нужно было создать героиню – молодую женщину, не желавшую жить на одно мифическое жалование и потому прокладывающую сквозь Сциллу искушений и Харибду околичностей нелегкий, почти страдальческий путь, используя средства все без исключения.

Наш журнал являлся читателям еженедельно, а потому и несостоявшихся ученых или проституток – в прошлом балерин или студенток консерватории – требовалось множество. Спору нет, все они были рядом и дышали с нами одним и тем же губительным для любых легких московским воздухом, но все-таки, как ни крути, не так-то просто было откапывать каждую неделю по разорившемуся миллионеру.

Задача была поставлена – осталось найти пути для ее разрешения. Новое время требовало своих героев, вскормленных тяжеловесными, драгоценными секундами – по центу за штуку.

– Думай, старик, думай, – бросил на прощанье редактор. – Что делать, журнал должен быть интересным, – вздохнул он. Вздохнул и я.

По дороге домой я, хмуро поглядывая по сторонам, проклинал в душе и редактора, и миллионеров. Мимо, обгоняя грустные троллейбусы, мчались стаи автомобилей, произведенных ведущими фирмами мира, и в каждом из них сидело по миллионеру, а то и по два; на обочинах дорог в принужденных позах стояли вчерашние балерины, и тусклый свет ларьков

¹ Юлиан – Клавдий Флавий Юлиан, римский император (361–363 гг.), непримиримый до фанатичности противник христианства, лишивший его приверженцев права преподавать и занимать государственные должности. Антихристианская политика Юлиана не увенчалась успехом.

бросал свои лучи на зеленое стекло пивных бутылок, которые миллионеры разорившиеся благодарно принимали из подрагивающих рук продавцов, наверняка сегодняшних студентов и миллионеров будущих.

Я мысленно перебирал своих друзей, приятелей и знакомых, но как назло никто не подходил в злополучную рубрику. Одни из них торговали родиной в рядах компрадорской буржуазии, искренне полагая, что недурно зарабатывают, другие, как бурлаки свои лямки, влачили безнадежное существование, все еще называясь государственными служащими, а третьи вообще ничего не делали, ни о каких миллионах не помышляли, студентами отродясь не состояли, но жили, как ни удивительно, лучше всех прочих, валяясь на продавленных диванах и поплеывая в потолок. «Проиграли мои уроды», – цедили некоторые из них убийственными голосами, имея в виду одну известную футбольную команду, и было заметно, что при любой власти и при всякой погоде подобные огорчения останутся для них самыми болезненными.

Таким образом, все они хотя и не бедствовали, однако только еще готовились заработать свой первый миллион, а журналистика – не литература, и ее интересует результат – блестящий или смахивающий на катастрофу, а не какие-то там приготовления и нелепые планы. Стоит ли говорить, что я сам и того менее подходил на эту роль.

– О себе писать нельзя, – с досадой говорил редактор, хотя и разъезжал на автомобиле стоимостью в приличную квартиру и то и дело болтал по телефону сотовой связи, в то время как на его столе, размерами напоминавшем стол петербургского градоначальника начала века, рядами стояли обыкновенные аппараты, точно боевые машины десанта в парке воинской части ноль шестнадцать шестьдесят.

И это было то небольшое, в чем я мог с ним согласиться: ни он, ни я не были созданы для подобных рубрик.

Поставив последнюю точку, я начинаю осознавать, что настает самое время рассказать о себе – благо это не потребует слишком много слов. Как и все остальные, сначала я родился, потом учился, как большинство. От матери я перенял привязанность к Исторической библиотеке и прочим книгохранилищам, а отец (конечно, бессознательно, как говорится на исходе века, генетически) возбудил во мне тайную страсть к одному напитку, который испокон – чего греха таить – надежно заменял многим из соотечественников и личную жизнь, и кодекс гражданских прав. Когда я достиг призывного возраста... На этом месте своей несложной биографии я обычно спотыкаюсь и не могу удержаться от того, чтобы передать слово одному несчастному нашему поэту, который исчерпывающе выразил самую суть этих вещей ровно за сто тридцать один год до того момента, когда я издал первый истерический звук под голубым небом земли.

Кто любит дикие картины
В их первобытной красоте,
Ручьи, леса, холмы, долины
В нагой природы красоте;
Кого пленяет дух свободы,
В Европе вышедшей из моды
Назад тому немного лет, —
Того прошу, когда угодно,
Оставить университет
И в амуниции походной

Идти за мной тихонько вслед.²

Так писал поэт.

По мнению моих родных, мне всегда недоставало мужественности. Родители, словно предчувствуя будущие неурядицы с характером, дали мне имя твердое, как камень, – они назвали меня Петром. Что до фамилии, то она у меня довольно смешная; когда люди слышат ее впервые, на их лицах появляются сдержанные улыбки, что как будто дает мне право лишний раз не произносить это нелепое сочетание звуков.

Итак, вместе с другими новобранцами трое суток я валялся на спортивных матах знаменитого ГСП³ на Угрешской улице, поедая домашние пирожки, а потом был привезен в пульмановском вагоне в какую-то литовскую глушь. Эшелон остановился на поляне, окаймленной дремучими елками, с ветвей которых клинообразными бородами свисал сивый мох. Кроме елок поляна была оцеплена еще сурового вида солдатами, взиравшими на нас с предельной долей презрения. Потом мы обнаружили себя в бараке с грязными стенами, где нам предстояло смыть гражданскую скверну и облачиться в хлопчатобумажные костюмы и вожделенные полосатые маечки. Рядом с богатырской деревянной колодой стоял человек с закопченным лицом, в черном комбинезоне и с огромной секирой на железной ручке. Как выяснилось, этой секирой он рубил наше прошлое, перед тем как забросить груды лоскутов в страшную печь с весьма кинематографической заслонкой. Партикулярное платье вылетело в трубу черным дымом, и, смешавшись с его клубами, рассеялись неосторожные мальчишеские фантазии. Затем явился человек без секиры, с орденской планкой на кителе и еще более свирепым выражением на лице и предложил не терять драгоценных секунд. Время пошло, добавил он, взглянув на руку, на которой вовсе не было никаких часов... Какое время? Что мог знать он о времени?

В общем, я повстречал там совсем не те обстоятельства, на которые уповали мои родные, но делать было уже нечего.

Дома после работы мое уныние приобрело угрожающие формы. Прибегнув к помощи телефона, я принялся выполнять редакционное задание. После нескольких звонков, когда меня называли идиотом, глупо ухмылялись, тяжело дышали в трубку, предлагали приехать в гости, купив по дороге непременно бутылку, я принялся смотреть телевизор, тупо уставившись в экран, который, если смотреть снаружи, действительно выглядит голубым. Поискав газетный лист с программой, я вспомнил, что наступила новая неделя, и побрел вниз по лестнице к почтовому ящику.

В ящик конечно же уже успели набросать всякой дряни – предлагали отдых на далеком атолле, круиз, тренажер, средство от полноты, хотя мне – скажу без обиняков – требовалось средство как раз противоположное, садовый домик за двенадцать миллионов условнейших единиц или коттедж за четыреста – каждому свое, как однажды написали «дети тумана»⁴, когда научились писать. Я вытащил газету с программой, развернул, и из нее выпал конверт. Поначалу адрес мне ни о чем не говорил, напротив, еще усилил мое недоумение. «Краснодарский край, г. Лабинск». Вернувшись в квартиру, я приглушил нечеловеческие звуки телевизора и с любопытством вскрыл этот конверт. То, что я прочел, надолго отвлекло мои мысли о миллионерах, разорившихся ученых, куртизанках и лишило и без того скупого сна. На казенной бумаге с печатью нотариальной конторы г. Лабинска меня уведомляли о вступлении в наследство жилым домом общей площадью пятьдесят четыре квадратных метра,

² «Кто любит дикие картины...» – строки из поэмы А.И. Полежаева «Эрпели».

³ ГСП – Городской Сборочный Пункт.

⁴ «Дети тумана» – Нибелунги, мифический род карликов.

с приусадебным участком, расположенными в поселке Адзапш Лабинского района Краснодарского края. Ошибки быть не могло – и имя и адрес были указаны разборчиво и предельно точно. Нотариус приглашала прибыть в город Лабинск для совершения формальностей. И только чуть позже я обратил внимание на приписку, которая – рукою нотариуса – сообщала, что драгоценный дар следует мне от гражданина Разуваева. Тут же прилагалась и копия с самого завещания. В горле у меня пересохло, я сунул в рот сигарету и заметался по комнате. Наследство – это слово иногда бывает страшным. Нас с этим человеком кое-что связывало... Да, именно так – кое-что связывало. Мы вместе служили в армии – это было не так давно, но давно, когда у нас была еще армия, а не большой партизанский отряд, тотемом которого запросто могла служить черная глупая птица.

Промучившись всю фиолетовую ночь, к утру я набрался решимости, позвонил моему редактору домой и изложил дело.

– Что ж, поезжай... – неуверенно пробурчал он и сердито добавил: – Не забудь, что к пятнице ты должен сдать заметку про метрополитен.

– Помню, – так же сердито отвечал я.

Сезон отпусков был на исходе, поэтому билет на самолет достался мне без труда. В сумке погромыхивали вещи, собранные второпях, сердце стучало в груди.

Битком набитый желтый автобус полукружием скользнул к самолету, и толпа вывалилась на взлетную полосу как разноцветный мусор из самосвала. На верхней площадке трапа стояла стюардесса и равнодушно взидала на наше скопище. Я всегда был больше летописцем, а потому опустил сумку за спинами штурмующих на выметенный турбинами бетон и приготовился ждать, уворачиваясь от резкого, сухого запаха авиационного керосина.

Друзья тащили пьяного мужчину и никак не могли всучить ему чемоданчик, он глупо хохотал и порывался попрощаться с кем-то невидимым, оборачиваясь и валясь на головы другим пассажирам. Две девицы, похожие, как две сигареты из одной пачки, в темных очках, хотя не было солнца, и в туфлях на огромных платформах тоже стояли поодаль – молча и совершенно неподвижно, наблюдая давку сквозь свои черепашьи очки с невозмутимостью последних могикиан. Мимо них обильно вспотевшие люди волокли какие-то короба, тюки, щедро обмотанные клейкой лентой, как ноги гипсового больного, – ох уж эти мне позорные приметы времени... Наконец очередь дошла и до меня, и я протянул стюардессе с потасканным и смертельно усталым лицом свой мятый, безобразно скомканный билет.

Кое-как я пробрался в тесноте салона к своему месту, трижды споткнувшись о чьи-то ноги и непристроенные сумки, и рухнул в кресло, украшенное кокетливой салфеточкой, которая задумывалась как ослепительная и некогда в самом деле такой была. Через секунду явились девицы, показавшие похвальную выдержку при посадке, и оказались моими соседками. Они чинно уселись, сняли свои очки, извлекли из сумок дорожное чтиво и устали в глянец журналов злыми, непроницаемыми глазами. Все это девицы проделали, словно напоминая о том опасном однообразии природных форм, с которым тщетно борется человеческая индивидуальность. Еще разок показалась стюардесса, послала в салон вялую улыбку, самолет покатился по взлетной полосе, где-то внизу подпрыгивая на стыках бетонных плит, и город, расчлененный лентами автострад, поплыл прочь в бурой смеси тумана и выхлопных газов.

Очень скоро в иллюминатор нельзя было разглядеть ничего, кроме распущенных облаков, которые тревожно неслись мимо, словно обрывки газет по голой осенней улице в революционный год. Зажглось табло с перечеркнутой сигаретой, и тут же к туалету потянулись первые курильщики, на ходу разминая белые трубочки. Достав письмо лабинского нотариуса, я опустил голову и скосил глаза на девиц. Ближняя ко мне изучала именно тот журнал, чьим корреспондентом я себя называл. Как назло он был раскрыт на моей последней

статье, где редактор излагал свои взгляды на современное нам искусство. Вторая девица – дальняя – тоже теребила журнал – один из тех, в которых фотографий раз в шесть больше текста. Она задумалась над кроссвордом: сколько я мог рассмотреть, его составители предлагали разрешить следующие загадки: «Что лежит в основе спонсорства?», подобрать «русский эквивалент заморскому слову «шарм», угадать, что есть «кусачего» в модной одежде?» или решить, кем являлся «польский король Казимир Великий как представитель династии». Над черно-белой решеткой кроссворда пестрели фотографии – с одной из них некие мужественные юноши, обуздав едва распутившиеся таинственные улыбки, глянули нам с девицей прямо в лицо озорными глазами хищных животных, сулящими декамероновские наслаждения. Они рекламировали одежду, призванную одновременно завоевывать взыскательных женщин и внушить доверие деловым партнерам. Один из этих пиджаков показался мне знакомым. Похожий был на Павле, когда он впервые втиснул свое плотное тело в четырнадцать метров моего монплезира, где я помещался вместе со всеми моими сокровищами, как крестьянин в избе со своей скотиной: старейшим «Underwood'ом», звонким, как револьвер, скрипкой, обнажившей дерево из-под красного лака в местах сцепления с человеческой плотью, на которой, по преданию, играл Пушкин проездом в Уфимском наместничестве и на которой моими детскими стараниями больше играть уже никто не будет, – так что по-своему я был богат.

Там я и сидел до поры, в осаде от перемен, уже без принципов, но еще с убеждениями. Мой пожилой сосед, на удивление мирный, мельком взглядывая на заглавие книжки, с которой я выскакивал в коридор к оглушительному телефону, неизменно спрашивал: «Над чем бьется пытливый ум?» – и, не дожидаясь ответа, сворачивал в уборную.

А я, в качестве дипломной работы, решал проблему со следующей формулировкой: что же такое наша непутевая государственность – злая скандинавская инъекция или же дреговичи, вятичи и поляне сами обладали крупницей государственного гения, который циркулирует в нашей крови, подобно морфию, гонит нас и по сей день, и мы движемся, то пускаясь бешеным наметом, затаптывая своих же младенцев, то бредя по колено в крови и месиве талого снега, потрясая иконами, темными чадом раскаяния, от неизвестного начала к неизвестному концу.

И я, хотя и не смог ответить на этот вопрос, на который в течение добрых двухсот лет безуспешно отвечали люди куда более искушенные в делах минувшего, постиг первую ступень незнания. Тогда-то, вопреки моему упрямству и самоуверенности, вполне простительной в молодые годы, я впервые осознал, что есть на свете вопросы, ответов на которые нет и не предвидится.

Труды над дипломом я перемежал поисками работы и, словно совершая некий ритуал, смысл которого я наконец перестал понимать, раз за разом возвращался домой с отказами от терпящих бедствие издательств, переполненных редакций и научно-исследовательских институтов, где не имел никаких знакомств. Чтобы притупить горечь неудач, несправедливо казавшихся мне временными, у станции метро я покупал бутылку пива, а потом заходил в булочную. Так продолжалось почти до осени. Дошло до того, что мне захотелось встретить кого-нибудь из старых друзей. То ли небо вяло моему хотению, то ли это грустное, созерцательное время года возбудило во мне предчувствие, но чего я желал, то и случилось.

День, когда я встретил Разуваева Павла, был воскресный, тихий, задумчивый. Солнце неярко золотилось в кронах деревьев, и город был как мудрый человек. Я шагал по узкому тротуару мимо фонарных столбов, которые казались мне крепко вбитыми в тугую землю кольями золотоискателей, застолбивших все возможные ответы раз и навсегда. Я хорошо помню большую синюю машину, которая, вынырнув откуда-то из-за спины, резко затормозила, словно споткнулась, смирив бег огромных тяжелых колес, и они покатались нетороп-

ливо, как колеса детской коляски на Гоголевском бульваре, когда можно идти рядом и, точно четки, перебирать глазами мерно перекатывающиеся спицы.

— А я ведь уже полгода здесь, — рассказывал он мне, сбиваясь от восторга, — работаю... весной приехал.

— Где работаешь? — спросил я.

— Да, — махнул он рукой, — занимаюсь кое-чем. Адрес твой потерял, понимаешь, а у вас тут даже справочного ни одного не осталось, такие дела. Ты за хлебом? Пойдем зайдем. Жди, Чапа, — сказал Павел кому-то внутрь своего никелированного чуда, похожего на бронетранспортер.

Я накупил на удивление черствых булок, и мы зашагали обратно к подъезду. Синяя машина сопровождала нас слева, точно луна в известном романсе, потом припарковалась и замерла, целиком отразившись в луже, образ которой, по странной прихоти коммунальных служб, является для меня одним из самых ранних детских воспоминаний.

— Это кто же такой — Чапа? — спросил я в лифте.

— Это водитель мой, — объяснил Павел. — Чапа его зову.

— Как собаку.

— Мы, Петя, хуже собак. Разве не так?

— Пожалуй, — согласился я, чтобы никого не обижать.

В армейской дружбе есть что-то звериное и не требующее слов. Можно просто сидеть рядом и смотреть в разные стороны, ощущая при этом всю палитру общения. Он допил чай и еще раз внимательно обследовал мое жилище. Вместе с ним мои глаза не без некоторого удовлетворения проделали путешествие по голым стенам, пыльным и беспорядочным грудам книг, а оттуда к лампочке без абажура и к одежному шкафу, три створки которого были истыканы ножом, словно бедра святого Себастьяна стрелами злобных святотатцев, — путешествие, которое мои глаза свершали ежедневно по несколько раз в минуты суровых раздумий.

Я отлично знал, что для него занятия, подобные моему, были чем-то вроде телевизионного сообщения, что английская королева родила пару мышат, а далай-лама принял крещение по православному обряду, и — подозреваю — если бы не некоторые обстоятельства нашей совместной двухгодичной повинности, он бы недоумевал, как, зачем и для чего такие люди вообще живут на свете. Думаю, ничего против он не имел, потому что нельзя же быть против травы, которая произрастает далеко от твоей газонокосилки; к тому же волки червей не едят. С другой стороны, зная меня, он невольно допускал, что те занятия, которым я предаюсь, могут иметь какой-то смысл — пусть даже и самый ничтожный, однако вникать в него — значило совершать преступление против человеческой природы.

Моя мнимая ученость произвела на него некоторое впечатление. Он долго смотрел на книжный шкаф, раздутый от разноформатных книг, как брюхо осла, больного тимпанитом. Похожим взглядом дети таращатся на прилавки с игрушками или кондитерскую витрину.

— Ты их все читал? — спросил он.

— Половину — точно, — ответил я подумав.

Павел происходил откуда-то с Кавказа. Отец его попивал, то и дело уезжал на заработки в Геленджик, да так и сгинул на задворках кафе при каком-то доме отдыха. Мать, тянувшая хозяйство, умерла двумя годами позже от официально не существовавшей малярии, а старший брат, однажды исчезнув из поселка, или станицы, как принято называть в тех краях небольшие скопления построек, вернулся только через четыре года, украшенный одной татуировкой, двумя скромными шрамами на подбородке и приобретя стойкое неприятие минусовых температур. Некоторое время он болтался на побережье — от Адлера до Анапы, после чего пропал вторично, да так надолго, что Павел стал забывать черты его лица. Вернувшись

из армии, Павел, согласно ожиданиям, дома никого не застал, а старуха собака, которую забрали соседи, околела за месяц до его возвращения. Тогда он перебрался в Туапсе и стал работать в туристическом клубе, развлекал группы из обеих столиц водопадами и дольменами, исколотыми ножами грамотеев. Время от времени в его жизни возникали какие-то мужчины крепкого сложения, с лицами «солдатских императоров», передавали от брата скупые приветы и щедрые денежные подарки, просили показать горы, ходили на охоту, которая обыкновенно заканчивалась пьяной стрельбой по опорожненным бутылкам, или таскали его за собой по прибрежным ресторанам, где он сидел, слушая их разговоры, составленные из непонятных слов. Потом они исчезали и являлись новые, неся очередную благую весть, и забытый брат, словно невидимое и могущественное божество, осенял из последней своей среднеазиатской темницы скромное существование самого близкого своего родственника.

Как ни странно, вынужденные невзгоды первого года службы и невзгоды другого рода года второго поселили в нас обоих чувство взаимной симпатии, ибо там, где мы были, чувства выражаются скупой, хотя и с предельной искренностью. И его неприхотливость, и моя кажущаяся нежизнеспособность были подвергнуты извечному испытанию, берущему начало в танталовом водоеме.

Нам мерещились виноградные гроздья, колбасы домашнего копчения, булки, горы батончиков, и мы представляли себе, как мы будем все это есть, а потом будем спать, и снова есть, и спать, и есть – обязательно около печки, и так без конца, пока родина снова не позовет нас ночевать в снегах, резать дерн, приукрашивать природу, чтобы привести ее облик в согласие с мироощущением старших офицеров, и совершать прочие бессмысленные действия, отлично известные каждому солдату.

Вернувшись домой, я быстро позабыл эти мудрые уроки и перестал дорожить простыми радостями света, раз за разом подвергая сомнению великие истины, отпущенные однажды, зато Павел никогда не имел опасной склонности к отвлеченным идеям. В нем засела та суровая природная сила, которая была чужда обманчивым рельефам приобретенных мускулов, которую завещают поколения предков, привыкших повелевать своими желаниями, – людей, каждый из которых твердо знал, кто родил его и кого родил он сам.

Может быть, он захотел стать похожим на своих московских подопечных, неизменно приносивших с собою многозначительный привкус столицы – привкус света и радости, а может, посланцы брата мало-помалу привили манеру к красивой, ослепительной жизни, а главное, указали пути, которые ведут к этому блеску – блеску калифов на час.

Теперь они, в прежние времена покупавшие своей хмельной щедростью все надежды такси и частного извоза, представляли в ореоле славы, разъезжали по серпантину Большого Сочи на дорогих автомобилях, выданных только на картинках в кубриках матросов торговых судов, в окружении молчаливых «оруженосцев» и в сопровождении женщин тоже невиданных – высоких, стройных красавиц, знавших себе цену; однако цена эта, как смутно подзревал Павел и как это обстояло на самом деле, всегда была немного завышена. С другой стороны, это были не те девушки, которые заклинали духов гор романтическими куплетами о непрочитанных книгах и дружбе, похожей на извращение, терзая гитары, головешки ночных костров и кутая плечи полинявшими отцовскими штормовками и истрепанными спальными мешками, из которых торчала свалявшаяся вата.

Словом, и те и эти рождали в нем неприятное чувство, что он находится где-то на обочине жизни. Ветер перемен дохнул ему в самое лицо, и уворачиваться было как будто незачем.

А может быть, он решился на выход в свет, когда откапывал палатку, поставленную на северном склоне горы Фишта⁵. В этой палатке еще жила студентка одного из славнейших

⁵ Гора Фишта – Фишт – самый западный снежник Большого Кавказа.

институтов. В то время как она испытывала третью степень охлаждения и видела мир из-под приспущенных век зеленым, теплым и ласковым, он, коченея от режущего ветра, через шаг проваливаясь в снег по бедра, тащил ее в спасительный и первозданный уют охотничьего домика, то и дело ударяя прекрасное лицо, изуродованное гибельным блаженством, крепкими, мужскими ударами. Возможно, именно в этот день у него впервые родилось желание своими глазами увидеть жизнь, к которой он возвращал пятьдесят три килограмма мяса, костей и жидкостей и девять граммов души, готовой взмыть в небо как истребитель, получивший команду на взлет.

И – вполне вероятно – двумя часами позже, расслабленно куря у железного ящика, служившего печкой и дымившего в пять щелей, прислушиваясь к звукам ломившейся внутри бури, он отчетливо подумал, что разница между теми, кто находится на острие жизни, и теми, кто ближе к ее основанию, всегда казавшаяся ему непроходимой и словно священной, на самом деле почти неразличима, а временами становится и просто никакой.

Вот вкратце все, что я узнал от своего Паши, точнее, что он сообщил мне в иной последовательности, с другой интонацией и другими словами и что я привожу здесь, сведя ветвистые диалоги в однопартийное эссе и опуская то, что, по моему мнению, оскорбило бы литературу.

Был самый конец лета, когда истомленные зноем деревья покрываются пылью, трава беспомощно жухнет, а в природе накапливается усталость, которую чувствует человеческий глаз. Вечера стали холоднее, ранними утрами иней покрывал земную плоскость колючим серебром. Москва никогда не выглядит безлюдной, но все же принято замечать, что в эти дни она особенно пуста. Мне тогда ехать было некуда, и я обрадовался старому знакомому. Наши встречи делались все чаще и чаще, а в скором времени стали почти ежедневными. Контора, из которой Разуваев вершил свои пока непонятные мне дела, располагалась на Полянке, через четыре переулочка от моего дома. Чтобы дойти туда пешком, даже не утруждая себя скоростью, требовалось всего-то минут пятнадцать немного запутанной ходьбы тесноватыми проходными дворами, под низкими арками, раскрашенными не хуже неолитических пещер.

Как я уже сказал, Павел передвигался по городу в своем шикарном автомобиле, сверкающем никелированными фрагментами и сочной темно-синей краской. В книгоиздании такой цвет величают благородным, и в этом, что ни говори, есть доля правды.

– Поедем ко мне, – сказал Павел, – посмотришь на мою... – При этих словах водитель по имени Чапа заговорщицки мне подмигнул и улыбнулся блаженно, словно только что увидел светлый, чудесный сон.

Контора занимала первый этаж неотреставрированного особняка, а сверху ютились какие-то агонизирующие учреждения прежней несправедливой власти. У Паши имелся отдельный вход – крылечко, украшенное неуклюжим современным литьем и мраморными ступенями, сразу за которыми мокла под осенним дождем злополучная наша страна.

Внутренности сей драгоценной шкатулки превосходили самые смелые ожидания: по углам были натканы уродливые пластиковые пальмы, рядом с синтетическими диванчиками стояли по стойке «смирно» сверкающие плевательницы – на тот, видимо, случай, если кому-нибудь вздумается сплюнуть, – окна были наглухо забраны салатowymi вертикальными жалюзи, а невнятный шум кондиционеров и полное отсутствие персонала увеличивали назойливое сходство с усыпальницей. Мы прошагали анфиладу безлюдных комнат, пока не очутились в просторном холле. За столом сидела по-настоящему красивая девушка и разговаривала по телефону на немецком языке.

– Интим не предлагать! – вдруг закричал Павел, хлопнул меня пониже спины и толкнул в следующую дверь, да так быстро, что я не успел разглядеть, какое впечатление произвела эта сомнительная шутка на прекрасную секретаршу.

Две огромные квадратные картины в узких полированных рамах висели по обе стороны стола. Я спросил, сколько он за них отдал. Судя по цене, это были очень хорошие картины. К тому же они ничего не изображали. Мне хотелось узнать еще что-нибудь, но в голове вертелась его давешняя выходка, и это сбивало с мысли.

– Не в казарме все-таки, – заметил я.

– Как сказать, – отозвался он загадочно.

В кабинете имелась еще одна дверь – через нее можно было попасть в маленькую каморку. Перегородка делила ее надвое: в одной половине около одностворчатого, узкого, как бойница, окна стояла железная армейская койка и металлический офисный стул с черным сиденьем, а другая служила уборной. Единственной роскошью здесь можно было счесть сверкающий унитаз, раковину умывальника и душевую кабину из прозрачного пластика.

Окно выходило в глухой дворик, где когда-то были гаражи, и упиралось в корявые колени разросшимся тополям.

– Что же ты квартиру-то нормальную не снимешь? Или не купишь? – спросил я, рассматривая этот диковатый интерьер.

– Не люблю быть в разных местах, – объяснил Паша, плюхаясь на кровать. – Да и что там одному-то делать?

– Не знаю... Жить, наверное.

– Жить не получится, – почему-то сказал он.

На широком подоконнике мигал зелеными цифрами электронный будильник, а на стене над кроватью булавкой была приколотая черно-белая фотография семилетней давности: в поле стоит солдат, за плечами у него по мерзлым комьям пашни волочится погасший парашют. Я знал эту фотографию очень хорошо, потому что сам нажимал на спуск фотоаппарата «Смена» негнувшимся пальцем. Еще секунда, подумал я, и бросок ветра толкнет купол, нижние стропы вырвет из рук, и они обожгут заочевенные пальцы; солдат потащится за куполом как всадник, у которого нога застряла в стремени. Но это будет через секунду, а пока солдат стоит, и в воронке поднятого мехового воротника сияет глупая и счастливая улыбка.

Когда мы вышли из кабинета, Павел познакомил меня со своей сотрудницей.

– Алла, – как невеселое эхо повторила девушка вслед за Павлом и грустно улыбнулась. Очертания губ у нее имели выражение легкой обиды и отливали скромным перламутром.

Эта секретарша, по первому взгляду показавшаяся мне одним из тех манекенов, которые составляют важнейший признак процветающих дел, оказалась обладательницей непритворно милой улыбки и владелицей естественных манер. Ужимки и кривляния здесь не культивировались, однако и увядающее кокетство не возбранялось. Вдобавок выяснилось, что мы с ней учились в соседних школах, и у нас нашлись даже общие знакомые.

Ее немецкий напомнил мне одну насущную проблему. Незадолго до того в некой монографии я натолкнулся на любопытную ссылку. Цитата была взята из немецкой книжки, а немецкого-то я как раз не знал.

Должен признаться, что во всякого рода правилах я не был силен, этикет мне никак не давался, и это досадное обстоятельство вкупе с настырным любопытством не раз служило мне плохую службу. Твердо я доверял лишь одному правилу: «Друг моего друга – мой друг», и наоборот. Эти нехитрые аксиомы заменяли мне любезность, избавляли от ненужных рассуждений и до поры казались простыми и надежными рекомендациями на все случаи жизни.

Ее красота, спокойная и печальная и оттого величественная, так меня поразила, что я – сам первый враг наглецов – унился до хамства:

– В Исторической библиотеке содержится одна книга, написанная по-немецки...

Алла смотрела на меня и ждала, что последует дальше. Честное слово, не знаю, что мною двигало, когда я сказал:

– Вот было бы здорово, если б вы перевели мне пару страниц.

Даже Павел бросил мне несколько веселых и понимающих взглядов, однако Алла не повела и бровью.

– Давайте книжку, – сказала она просто, – я переведу.

– Книжка-то в библиотеке, – радостно сообщил я.

– Так вы ее возьмите, – посоветовала она невозмутимо.

– Да все дело в том, что эту книгу не дают на руки. Она там чуть ли не в единственном экземпляре, – объяснил я.

– Тогда ксерокопию сделайте.

– И ксерокс не разрешают делать.

Она задумалась ненадолго.

– Тогда выучите немецкий.

– Ничего не остается, – ответил я со вздохом. Я уже чувствовал провал и начал медленно краснеть, но она неожиданно согласилась:

– Вы это серьезно?

– Абсолютно, – невнятно заверил я, страдальчески посмотрев на Разуваева.

– Тогда надо ехать, – вмешался Павел. – Чапа вас подбросит. Только потом чтобы сразу сюда, скажи ему.

Всю дорогу Чапа мигал мне, как маяк терпящему бедствие пароходу.

Мы поднялись в отдел редких книг. Часа через полтора она положила передо мной лист бумаги с переводом. Только сейчас я обратил внимание, что пальцы ее были свободны от каких бы то ни было украшений, а ногти подстрижены коротко, по-мужски.

«...народ этот сентиментальный, но не добрый... три случайности свершили эту судьбу...»

– Интересно, – сказал я и аккуратно сложил лист вдвое.

Мы вышли из библиотеки под вечер. На улицах было ещелюдно, но основная масса часа пик уже растеклась по разноцветным венам метро. Я еще держал в руке листок с переводом и размышлял, на какой странице моей работы были бы уместны эти обидные слова.

– Чем это вы занимаетесь? – спросила Алла, кивнув на листок.

– Хочу выяснить, как образовалось государство у восточных славян.

– Ну и кто же мы такие?

Той осенью в подобных мимолетных вопросах я усматривал непозволительную беспечность и в глубине души сердился на всеобщее равнодушие к загадкам вселенной.

– Лучше и не спрашивать, – отмахнулся я, но это не было шуткой. В самом деле, кто может ответить на такой вопрос?

– Что-то мудрено, – сказала она.

Еще раз мне пришлось махнуть рукой.

– Понимаете, одни вопросы влекут за собой новые вопросы, одни выводы требуют других.

– Червь познания, – заметила Алла.

– Это не червь, – ответил я. – Это змей. Знаете, как в сказке – одну голову рубишь, а на ее месте тут же две новых вырастают. И вся эта простая конструкция уходит куда-то в бесконечность, а мы делаем вид, что что-то познаем. Никто ничего не знает. – Непонятным образом я разошелся не на шутку, раскидывая по сторонам хмурые взгляды. – И так без конца. Вот говорят – нельзя представить бесконечность. А и конечность поди-ка представь! Черт знает что.

Только сейчас я заметил, что закончилось лето. Первый приступ ненастья прошел, и дожди, собираясь с силами, ненадолго уступили место прохладному солнцу, которое задумчиво лежало на тихих улицах, на крышах домов, уже остывших от тяжелого августовского зноя. Небо потеряло глубину и стало как грязное стекло, и под этим истончившимся, полинявшим велариумом деревья занялись холодным осенним огнем. Первыми вспыхнули клены, оторвавшиеся их листья искрами затрепетали в воздухе и кружась полетели к земле. Кое-где в углублениях асфальта блестели лужи, в которых тонули листья и отражения.

Может быть и правда деловитая осень, если не считать колдовской, пушистой, почти неправдоподобно сказочной зимы, была Москве к лицу больше других состояний. В конце осенних дней чувствовалась какая-то сжимающая сердце мимолетность. Мне нравилось пробираться в толпе, среди женщин, спешащих с покупками к семьям, топтаться у киноафиш и ярко освещенных витрин торговых павильонов, бродить, слоняться, болтать с уличными продавцами всякой всячины, подставлять огонек зажигалки под вздрагивающую сигарету, прикрывая перчаткой слабенький язычок, ловить и отражать быстрые взгляды, мимоходом провожать глазами понравившееся лицо и видеть с бессильной грустью, как навсегда скрывает его людская толща или равнодушные двери вагонов, или стекла автомобиля. Я чувствовал, что эти минуты особенные: в эти минуты кто-то находит свое счастье, кто-то расстается навек, и меня всегда охватывала тоска по всем бесчисленным возможностям, которые, как песчинки, сыпятся в никуда сквозь бессильно разведенные пальцы.

Жаль, что не придется поболтать вот с этим и не переброситься словом с этим, и никогда не познакомиться вон с тем, который, нагруженный пакетами, неловко залезает в такси. И мне отчего-то хотелось знать, куда он едет в этой просторной желтой машине, куда торопится в таинственных и скорых осенних сумерках и кто встретит его там, где высадит его неразговорчивый шофер. И куда едут остальные машины, в шесть рядов упрямо ползущие друг за другом; мне хотелось знать, кто их ждет, о чем говорят посетители кафе, сидящие за столиками у высоких окон, выходящих на улицу, для кого покупают цветы и кого жаждут узнать молодые люди и девушки, стоящие на выходах станций метро, нетерпеливо перебирающие лицо за лицом в бесконечном человеческом потоке, и становилось грустно оттого, что людей так много для одного человека.

– Вы его близкий друг? – спросила Алла, имея в виду Павла.

– Бывает, наверное, ближе, – усмехнулся я.

На прощанье в кафе у метро мы выпили минеральной воды.

– Пока есть такие мужчины, стоит оставаться женщиной, – заметила она, но сказано это было без всякого интереса. В устах красивой и неглупой женщины все прочие комплименты утрачивали обаяние. – Он еще умеет мечтать, – добавила она и выразительно вздохнула.

– Не замечал, – рассмеялся я.

– А я, – произнесла она невесело, как-то по-детски склонив голову набок, – уже устала мечтать. Я больше не могу. – Светлые волосы с обманчивой безыскусностью обрамляли ее лицо. Прикрытая челкой, продольная предательская морщинка пересекала высокий прямой лоб и разглаживалась ближе к вискам. Алла имела привычку немного шурить глаза, напоенные серьезной печалью; от этого они словно веселили и, меняя грусть на забаву, становились лукавыми. – Давай на «ты», – предложила она.

– Давай, – сказал я, – а вы, то есть ты... – сбился и не мог закончить начатое.

– Я, – произнесла она утвердительно и весело и посмотрела мне прямо в глаза. – «Я зеркало души твоей, всмотришься в меня сильнее...»

– За этим дело не станет, – заявил я панибратски. – Каким же образом почитательницы столь утонченной поэзии сводят знакомство с грубыми торговцами?

– Да очень простым, – откликнулась Алла. – Была у меня подруга. Хотя почему была. Она и сейчас есть. Просто живет не здесь. Замуж вышла – уехала. Они живут в Кении, муж

там работает. Дом стоит прямо на берегу океана. Муж такой смешной, представляешь – коллекционирует военные шапки: фуражки всякие, шлемы, эти... как их?

– Каски? – предположил я.

– Каски. – Ее глаза остановились, их взгляд отразился от пространства, как от невидимого зеркала, и ушел обратно. Несколько секунд она сидела не говоря ни слова, словно пыталась примерить на себя чужую судьбу, и решала, хотела бы она жить на берегу океана, где бесконечной чередой идут к берегу плоские волны, с человеком, который собирает военные шапки.

– Ну и что дальше? – осторожно напомнил я.

– А... В общем, она меня с Павликом познакомила. Они тогда только открылись – нужен был человек. И я как раз без денег сидела. Случайно так получилось.

Подруга была той самой студенткой, которая на свою голову полюбила горную природу и которой Павел по долгу службы, как будто оспаривая слова нестареющей песенки, устроил дополнительный день рождения. Когда Павел появился в Москве, он первым делом нанес визит ее родителям, теща себя мыслью, что для него начинается светская жизнь, и был принят как нельзя лучше.

Я продолжал свои исследования:

– А раньше что подделывали?

– В Париж моталась с одним антикваром.

– Вдвоем? – деланно ужаснулся я.

– Он был толстый и жадный, и он это знал. – Она посмотрела на меня с усмешкой. – А я ему переводила.

Темнота вечера сделалась уже холодной, воздух быстро остыл и словно загустел. Небо вбирало в себя отблески уличного электричества, и в нижнем его слое пробивалась ядовитая краснота. Мы спустились на тротуар и пошли к станции.

На прощанье она улыбнулась немножко виновато, словно извиняясь, что обрекает меня на одинокий путь домой.

Весь следующий день я провел за письменным столом, приискивая место для давешней добычи, а вечером появился Павел и избавил меня от этого занятия.

Работа историка сильно напоминает работу следователя – следователя по особо важным делам. Следователя, распутывающего в тишине коллективные преступления, заговоры правительств, напрасные метания одиночек и заблуждения народных масс, которые сносила, сносит и будет сносить земля. Еще одно свидетельское показание, еще одна улика – все нужно приобщить к делу.

– Что такое меценат? – спросил Павел с порога.

– Вообще-то это не что, а кто. Это был такой в Древнем Риме человек, он оказывал покровительство искусству.

– Типа спонсор?

– Типа спонсор, – ответил я. – Почему ты спрашиваешь?

– Да... – Он удовлетворенно улыбнулся: – Меня тут так называли.

– Да ну! Кто? – Я даже привстал от восхищения.

– Помог, понимаешь, одной галерее. Слушай, есть одно дело. Есть один клиент, короче. Сможешь ему растолковать, что там написано, в книгах в смысле? Что за писатель, когда жил, про кого написал? В двух словах. Возможно такое?

– Что автор хотел сказать своим произведением, – добавил я, подавив зевок.

– Именно, – ответил Павел с ноткой восхищения, показавшего, что я верно угадал требования «клиента».

– Ну и кто он такой, чем занимается? – осведомился я.

Павел прошелся по комнате опустив голову, посмотрел в окно, опрометчиво отвернув штору, с которой посыпалась пыль, как снег с зимней елки, и вспорхнула перламутровая моль.

– Да это я, – произнес он, улыбаясь смущенной и вместе с тем счастливой улыбкой человека, делающего сюрприз, прежде всего приятный ему самому. – Я.

– А тебе-то зачем?

– Нужно, – коротко сказал он. – Мне нужно. Табула раза, – неожиданно произнес он с изяществом младшего Катона.

– Как ты сказал? – переспросил я озадаченно.

Он повторил.

– Кто же это тебя научил таким словам?

Паша порылся в кармане и вручил мне затасканный, потертый на сгибах листок, на котором была начертана транскрипция этого древнего изречения.

– А то я как баран, – мужественно признался Павел. – Москва все-таки и вообще...

– Да ну. Глупости. – Я снял с полки несколько увесистых томов. – Вот, – сказал я и хлопнул ладонью по переплету, – «Война и мир»... – Я вопросительно взглянул на него.

– Слышал, – кивнул он, но книги не принял.

– Ты что, читать не умеешь? – рассердился я.

– Умею вроде, – как-то не слишком уверенно произнес он, – но не могу. Даже газет не читаю. Только платежки – еще куда ни шло.

Некоторое время я раздумывал. Делать мне, если не считать смертельно надоевшей дипломной работы, было решительно нечего. Здесь должен признаться, что склонность к безделью и по сей день является отличительной чертой моего характера; в ту же пору я наслаждался свободой вдвойне, так что был готов во всякое время к любым услугам. Бесспорно, невозмутимость моего болота была мне очень дорога, почти как настоящим лягушкам, но все чаще меня посещала мысль, что жизнь – хитрющая из иллюзий – крадется прочь за моим немытым окном, а за ней вприпрыжку бежит молодость. Я не на шутку стал опасаться навсегда почить в обществе плохо освещенных химер да полумифических героев, скупно прописанных на едва сохранившихся скрижалях истории. «В последний раз», – шептала обманщица шорохом осеннего ветра, шелестом приговоренных листьев. В домах напротив зажигался свет. Свет заката таял далеко в небе, под сенью сиреневых облаков.

– Хорошо, – сказал я, – я тебе помогу. Хотя и не понимаю, зачем тебе это нужно.

Когда он ушел, я долго сидел в темноте и, время от времени прикладываясь к чашке с остывшим чаем, вспоминал другие ночи: черные ели под Гайжюнаем, широкие просеки, уложенные бетоном, и на них поднявшие хвосты самолеты, гудящие, как майские жуки.

Для меня началась другая жизнь – жизнь с обязательным двухчасовым круговоротом. По утрам я продолжал свои исследования, а в перерывах освежал в памяти подробности фабулы того или иного шедевра отечественной словесности.

Заниматься у меня в комнате или где-нибудь еще Разуваев решительно отказался, не выдвинув против этого никаких серьезных причин. Мне, впрочем, причуда эта пришлась по душе – я и раньше замечал, что думать лучше во время движения. Дорога приносила неожиданные мысли; ко всему прочему, моя келья мне осточертела.

Каждый день, но в разное время за мной заходил Павел, и мы спускались к его внушительному автомобилю, который сделался нашей аудиторией. Чапа, оказавшийся добродушным парнем атлетического сложения примерно наших лет и приверженцем того стиля в одежде, который в последние времена побил у нас все рекорды моды и который принято называть спортивным, выводил машину из тесных переулков на волнистую грудь Садового

кольца, и мы по два часа, что называется, наматывали круги или увязали в пробках под тихий, шелковый шелест мотора.

– С чего начнем? – спросил я, чувствуя себя настоящим миссионером.

– Тебе лучше знать, – резонно ответил Павел. – Ты только объясни сначала, зачем вообще все это нужно – ну, искусство там и все такое.

– Очень просто, – без запинки начал я, – одним нужно, чтобы избавиться от скуки, вторые подражают первым, а третьи... ну вот тебе зачем-то ведь нужно?

– Нужно, конечно, – согласился Павел. – Но я не знаю зачем.

– Вообще-то считается, что искусство изменяет мир и делает человека добрей и достойней собственного разума, – с расстановкой проговорил я, а подумав, добавил: – Кроме того, иногда за это можно получить неплохие деньги.

– Неплохие – это сколько? – деловито подхватил он.

– По-разному. – Я подивился такому вопросу. – Зависит от времени и места.

Конкретных и знаменитых сумм я пока не называл, ибо не мог же я в самом деле погружать в филологическую премудрость человека, не способного в правильном порядке перечислить буквы родного алфавита.

– Да, – вспомнил я в предисловии, – и еще... Искусство призвано привести человеческое устройство в согласие с замыслом Творца.

– Это кто еще такой – Творец? – наивно поинтересовался Разуваев. – Бог, что ли?

– Бог это, бог, – не выдержал Чапа и даже раздосадованно качнул своей коротко стриженной головой.

– Помолчи, – сказал Павел и обратил на меня вопрошающий взгляд.

– Так и есть, – подтвердил я, кивнув на Чапу. – Он правильно сказал. Только никто хорошенько не знает, в чем этот замысел состоит.

– Ну, это-то понятно, – удивился Павел. – В том, чтобы все было хорошо.

– Что – все? – переспросил я.

– Ну как что? Все, – решительно пояснил он. – Чтоб небо не падало, короче.

– Ладно, – решил я, – черт с тобой, открою секрет: искусство – это как зеркало. Человечество любит смотреться в зеркала. Считать свои морщины, так сказать. Само по себе изображение ничего не может, – прибавил я со вздохом.

– Чапа, понял что-нибудь? – спросил Павел.

– А как же, – ответил Чапа, круто бросая автомобиль в щель между двумя вишневыми «пятерками», на крышах которых по какому-то некодифицированному праву были прилеплены синие колпачки сирен. – Я сообразительный.

В одежде мой друг проявлял удивительную разборчивость и подавлявшее меня разнообразие. Пиджаки и галстуки, или иначе «гаврилки», сменяли друг друга как на подиуме, но один наряд всего более был ему по душе. Он состоял из черного ворсистого пиджака и тоже черной водолазки, бравшей, как кредиторы, за самое горло и подпиравшей подбородок, точно воротник инфанты, и имей Павел лицо поуже, а волосы потемней, он и впрямь походил бы на герцога Альбу с полотен великих испанцев. Поверх водолазки лежала короткая серебряная цепь – точь-в-точь знак отличия ордена Алкатравы⁶. Одетый таким образом, он чувствовал себя заметно свободней, и беседы наши в эти дни затягивались дольше обычного, обнаруживая живой характер и приобретая неожиданные направления.

Нельзя сказать, чтобы Чапа оставался равнодушным к нашей паралитературе. Иногда я замечал в зеркале заднего вида его веселые серые глаза в желтую крапинку, на мгновение

⁶ Орден Алкатравы – шуточный «коллаж», образованный слиянием названий двух старейших испанских духовно-рыцарских орденов: Алкантара и Калатравы.

отрывавшиеся от дороги, и усмешку, создававшую уверенность, что он проявляет к сумасбродным глупостям интерес больший, чем можно было в нем предположить по первому взгляду. Примечательно, что он как будто искал встречи именно с моими глазами, призывая в свидетели или приглашая разделить забавное наблюдение. Как бы то ни было, у меня рождалось чувство: он знает о своем хозяине что-то такое, чего я за ним не знаю или забыл за время семилетней разлуки.

Чапа был, видимо, больше чем водитель – Чапа был друг, поэтому, когда я однажды познакомил экипаж синего автомобиля с соображениями одного дипломата относительно пропорций счастья, глупости и любви, Чапа, к моему изумлению, осудил Софью с предельной жестокостью.

– Да сука, – мрачно сказал он. – Проститутки кусок. – Он поискал место, куда бы сплунуть, потом нажал кнопку стеклоподъемника и выпустил наружу влажное доказательство своего возмущения.

Поначалу меня выводили из себя комментарии такого рода, но я же не был убежденным профессором, поэтому быстро привык и почти перестал обращать внимание на эти замечания. Однажды я все-таки рассердился и спросил напрямик:

– Слушай, ты вообще кроме «Маши и медведей» читал что-нибудь?

– Читал, – спокойно ответил Павел и загнул мизинец. – Таможенный сборник – раз, Уголовный кодекс – два...

– Новый, – добавил Чапа с глупым смешком.

Больше никаких вопросов я не задавал и, как умел, делал свое дело.

Мы продвигались довольно быстро и через месяц с небольшим докатили уже до «Мертвых душ». Здесь Павел выслушал меня особенно внимательно, еще внимательней слушал Чапа. Оба они были серьезны, как аспиранты на лекции опального гения, затравленного властью рабочих и крестьян.

Единственным, что мешало мне излагать свое прочтение классики, были беспрестанные телефонные звонки, вторгавшиеся в наш тенистый мирок с систематической назойливостью, и я, кажется, думал о том, что если эти звонки и есть ключ к успеху и неотъемлемый его атрибут, то мне, пожалуй, никогда не разбогатеть. Порою они надолго затыкали мне рот и буквально вышибали нас из круга – тогда надо было куда-то мчаться, и мы ехали, ныряя в повороты и блуждая в разломах центра, или неслись к окраинам, наперегонки с торопливостью прочих участников движения.

Чичиков им понравился, им было понятно, чем он занимался и чего, в сущности, хотел от своей неутомимой жизни.

– Был у меня один приятель, – сказал как-то Павел, – так он в Восточной Сибири банки прогоревшие скупал. Неплохо наживал, – прибавил он после долгого раздумья. – Ну и что с ним дальше было, с этим Чичиком?

– Кто бы знал? – вздохнул я.

– А моего грохнули, – сказал Павел задумчиво. – Он вышел из дома, его прямо у машины расстреляли. Он по земле катался, все равно достали. Под колеса прятался. Семь дырок сделали... Правда, не сразу умер.

– Искусство условно, – твердил я после каждого похожего заявления, однако под крышей синего германского автомобиля верили мне плохо.

Постепенно мы перешли на вечерний график. К ночи мы колесили без всяких помех, бездумно разглядывая город, с которого темнота и пустота как будто стирали тщеславный грим и косметику процветания. И он походил на стареющую женщину, принявшую ванну, чтобы отойти ко сну. За отсутствием людей, ежедневно прикрывавших эту наготу, становился заметен мусор, убожество витрин, голые и чахлые деревья – сбитые на обочины

пасынки и падчерицы жестокого города, пучки трещин на грязных стенах, отвалившаяся штукатурка на цоколях и неумытые окна зданий.

С огромных подсвеченных щитов улыбались в никуда яркими губами рекламные герои, на время ночи утеревшие свою власть над погруженными в сон миллионами, и тщетно всматривались честными, пристальными глазами в безлюдную дорогу, и оттого их беспомощные улыбки вызвали еще большее недоумение.

Павел преуспел, а точнее, как он сам говорил, нажился случайно, как это тогда произошло со многими. Немало соотечественников однажды буквально обнаружили себя состоятельными людьми и удивились, до чего же это просто.

Его криминальный брат большую часть времени проводил на родном берегу в черноморских портах, где встречал плывущие из Турции сухогрузы с контейнерами медикаментов, а Павел размещал их в столице и в прочих населенных пунктах, где еще звучала русская речь. Краем уха я слышал, что у этого родственника имелись чрезвычайно выгодные договоры о поставках обезболивающих препаратов для МЧС – контракты, способные озолотить даже прирожденного ленивца.

Поддавшись настояниям «семейного» интереса, Павел перебрался в Москву. Он быстро осмотрелся, благоразумно отложив на потом удивления и восторги. Москва ему, в общем, понравилась. По своей природе он был человек деятельный, в его глазах не существовало проблем, которые казались бы ему неразрешимыми. Москва же была способна закружить в вихре движения и надежд и менее расположенную к тому натуру. Все здесь создавало убеждение, что и ты как-то причастен к безостановочной суматохе, плоды которой погружали совесть в летаргический сон.

С другой стороны, причерноморский юг чем-то сходен со столицами – там всегда ощущалось приторное дыхание если не свободы, то по крайней мере ее предчувствия, и дух кустарной предприимчивости как будто обитал в виноградных лозах, которыми южные жители затеняли свои цементные дворики.

Каждое лето отдыхающие, рассеявшись по побережью, приносили с собой признаки нервного, нездорового родства с северным средоточием главного смысла и результатами поползновений слабого ума, а море, равнодушно ворочая щебни тяжелыми волнами, приглашало к фантазиям и давало понятие о далеких манящих государствах. Но отдыхающие уезжали: запыленные поезда мчали их на север, самолеты оставляли в небе призрачные, тающие на глазах следы, а Павел оставался и мог только гадать, с какими божествами ведут они беседы, вернувшись домой, и какие тайны поверяют им эти божества, обитающие по соседству.

Кроме меня в Москве у него были уже и другие знакомые. Кое-кого из них я видел. Один носил часы за двадцать семь тысяч долларов или около того.

– А что в них такого? – поинтересовался я.

– Очень удобно сидят на руке, их и не чувствуешь совсем, – доверительно сообщил он и даже оголил запястье, чтобы я мог хорошенько разглядеть это дорогостоящее достоинство. – Видите?

– Как будто, – выдавил из себя я, сдерживая икоту.

Одевался он так же, как и Павел, словно жила уже однажды – в эпоху Возрождения. Нос у него был сломан и в середине утолщался и как будто вилял на одутловатом лице, огибая некое незримое препятствие. Его пиджак плохо сходил на животе, а тыльная сторона коротких пальцев служила почвой какому-то рыжему кудрявому мху.

– Горохом торгует, – со смехом сообщил Павел, когда мы остались одни. – Наш, из Краснодара пацан.

Благодаря Павлу в ту зиму я побывал во многих местах, куда бы самостоятельно не попал ни за что, и повидал многих людей, на которых при других обстоятельствах не обратил бы сугубого внимания. Впрочем, всего скорее, эти люди рассуждали точно так же.

Другой его приятель был беззаботный гуляка. Он играл в букмейкерской конторе, располагавшейся в подвале где-то в районе Трубной площади. Он был полноват, с лицом нежным, как у девушки, а может быть, как у евнуха, и только редкая крапинка и синеватый отлив на подбородке выдавали искомую сущность. Дела его, скорее всего, были никудышные. Однажды я отчетливо услышал, как он сказал какому-то парню с тусклым ленивым взглядом из-под прикрытых свинцовых век:

– Предков разменивать буду. Моя доля – пятьдесят штук... На полгода хватит, а дальше в петлю. – Он вздохнул и недоверчиво понюхал пальцы обеих рук, а потом так же недоверчиво посмотрел на стоявшую перед ним пивную кружку и раскрытый пакетик чипсов.

Но не о них речь – эти связи были вполне бескорыстны. Павел стремился приобщиться к культурным пластам всякой глубины залегания. Далекая столица издавна пользовалась его уважением – она представлялась ему сокровенным оазисом. Каким-то образом, непонятным прежде всего ему самому, он то и дело обнаруживал себя в знакомстве с блистательными москвичами и теми, кто уже готовился вычеркнуть из памяти и паспорта менее звучные названия мест своего рождения. Откуда они брались, где и как сводил он с ними дружбу, он зачастую затруднялся мне объяснить: просто оказывались рядом; были и такие, которые находили его сами. Они величали его по имени-отчеству и давали понять, что не сегодня-завтра станут прибавлять еще имена деда и прадеда – для пущей важности. Люди эти представляли разные направления и методы творческих поисков всех видов искусств, но цели их были едины. Почти все они докучали ему ежедневно, отнюдь не лениясь злоупотреблять смертельно перегруженной телефонной сетью и терпением Аллы, весьма, впрочем, ограниченным.

Пользуясь его открытостью, известной простотой и невежеством, они пытались вызвать в его душе сочувствие к судьбе отечественной культуры и порадеть за нее кошельком. Их не смущал даже его облик, не имеющий ничего общего с их смутными идеалами, и род занятий, добросовестные размышления над коим запросто изнуряют натуру, чересчур обремененную атавистической моралью.

Способность любить свое удовольствие за свой же собственный счет, не укладывая обстоятельства в горизонталь безысходного тупика, дана очень немногим, однако именно о них людской род передает в поколениях благодарные воспоминания и не жалеет времени на изучение их жизненных перипетий.

Он же достаивал их вниманием, что вовсе не было странным: все это ему нравилось. Их лесть, состряпанная зачастую и неловко, и безответственно, тешила самолюбие и приглашала взглянуть на себя другими глазами – взором, подернутым флером самообольщения.

К чести их надобно сказать, что ни в лицо, ни за глаза они не позволяли себе над ним потешаться, хотя, конечно, поводов к тому бывало довольно и мысли их сомнений не оставляли. Несмотря на то что его ремесло да и сам образ жизни не находили в них понимания, они относились к нему без эмоций, как к злу необходимому, наподобие проливного дождя, от которого надо бы укрыться, но иногда недурно подставить посудину и собрать пресной водицы. Он был для них чем-то вроде офицера автоинспекции или чиновника таможенной службы. Почти все мы считаем себя выше названных господ, но только единицы осмеливаются вступать с ними в серьезные пререкания.

Однако Павел, распределяя вспомоществования, хотел судить самостоятельно и беспристрастно. Всего скорее, затем-то он и обратился к образованию, ничуть не пеняя на судьбу, которая отвела ему во время оно такие скромные возможности.

Если выйти из метро на «Маяковской» и миновать мрачную колоннаду Зала Чайковского, спуститься по тротуару Садового кольца, повернуть налево и обойти несколько мусорных контейнеров, как раз попадете туда, куда однажды угодил и я, повинувшись бесцеремонной Пашиной прихоти и вопреки своему желанию, – в восемь часов вечера, в самом начале осени. Павел позвонил мне утром и сказал, что собирается на выставку. Сам он появился у меня в половине восьмого, одетый прямо-таки вызывающе.

– Ну-ка, – озабоченно проговорил он, – дай я на тебя погляжу... Нет, так не годится. Есть у тебя костюм?

Я ответил, что костюма у меня нет, но, чтобы придать себе более солидный вид, я готов переодеться в строгие брюки. Павел придирчиво осмотрел этот ансамбль: низ ему потратил, а вот моя кофточка никак не вязалась с его представлениями о гардеробах порядочных людей. Надеюсь на чудо, он сунул печальное лицо в душную темень одежного шкафа, вместо выходных костюмов заваленного книгами и съезжившимися от старости апельсиновыми корками.

– Нехорошо опаздывать, – изрек он, когда застоявшийся автомобиль выскочил на Садовое кольцо.

Минут через пять Чапа затормозил у первого же магазина, где продавали одежду. Паша ворвался внутрь, напялил на меня пиджак, подтащил к зеркалу, повертел, помычал, оторвал этикетки, схватил с вешалки первый попавшийся галстук, с полки прихватил белую сорочку, расплатился и под шальные взгляды весь день скучавших продавцов выскочил на улицу. Свой туалет я завершал в машине. Через пять минут я экипировался надлежащим образом и был готов предстать пред очи самых строгих ценителей классического костюма.

Впрочем, к началу мы все равно не успели. Прежде всего я увидел каких-то людей, стоящих в темноте у входа в подвальчик, своим неровным косяком напоминавший богатырский зев русской печи. Каждый держал в руках по одноразовому пластмассовому стаканчику. На свету, застывшем в дверном проеме, клубился пар. Мы спустились вниз по выщербленным и неровным ступеням. Коридорчик, в котором вежливо потягивало «травкой», геометрически вильнул, и нам представилась ярко освещенная комната без окон, метров пятидесяти площадью. На дальней от входа стене, в лучах боковой подсветки, висел сам предмет – кусок фанеры, на котором в четыре кольца клейкой ленты была продета свежеспиленная ветка ясеня. Рядом в опрятной рамке находилось отпечатанное лазерным принтером *moralite'*.

Помещение, полное серым дымом сигарет, было еще полно мужчинами и женщинами, в основном молодыми, и все они тоже отхлебывали из белых пластиковых стаканчиков рубиновую жидкость, а жидкость после каждого глотка кровавыми каплями задерживалась на ребристых стенках, в канавках колец. Мы выделялись в толпе своими пиджаками и галстуками, потому что, кроме нас, никакой строгости ни в ком заметно не было. Напротив, все намекало на то, что мы попали на выставку, так сказать, костюмированную.

Бал здесь правила мода разогнанного Тишинского рынка, когда вещи настолько стилизованы, что никак не поймешь, то ли это ужасное старье, то ли плод годичных трудов и гордость какого-нибудь парижского ателье. Мужчины щеголяли платками и ушными серьгами, а девушки с изможденными лицами носили с трогательным изяществом черные бушлаты, вызывающие в памяти казенные наряды революционных матросов. И девушки, и юноши дружно топтали пол массивными альпинистскими ботинками, наличие которых как будто намекало на то, что их обладатели время от времени вырываются из чахоточного града и покоряют горные вершины, хотя это все-таки было и не так.

Вежливо и даже по-приятельски здороваясь с некоторыми из них, Павел протиснулся прямо к произведению. Подойдя вплотную, он долго стоял и смотрел на загубленную ветку. Я читал пояснение:

«МОЙ ПУТЬ – ПРОНЗАТЬ ОДНИМ.

А что скажет Ю?»

– Ну как тебе? – наконец спросил он озабоченно.

В ответ я сделал головой, руками и даже всем корпусом некий неопределенный жест, который должен был изобразить степень моего восхищения.

Между тем комната наполнялась новыми и новыми поклонниками неизвестного мастера. Входящие мельком взглядывали на композицию, живо напоминавшую украшение только что отстроенного лютеранского храма, и после бурных приветствий подключались к тесному разговору. Впрочем, это храм и был.

Только один молодой человек, едва появившись, тут же отправился изучать экспозицию, внимательно посмотрел на стену, оглянулся в поисках поддержки с чуть виноватой улыбкой человека, не знающего, как тут быть: отнестись ко всему как к шутке, или здесь было бы уместней морщить лоб и наслаждаться долго, то отходя, то приближаясь, постоянно меняя угол зрения. Если не считать меня, он был единственный зритель. Я ответил ему загадочной улыбкой, и тогда он тоже улыбнулся открыто и облегченно, охотно признавая себя дураком. Потом, я видел, он отыскивал каких-то своих знакомых и весело с ними болтал, однако то и дело воровато находил глазами экспонат и несколько испуганно на него поглядывал.

К нам протиснулся высокий человек, с большой лысиной и седеющей бородой, облаченный в выдавшие виды джинсы и какую-то распашонку.

– А это мой друг, подающий надежды... – попытался представить меня Разуваев.

– Дожить до ста, – поспешно договорил я, ибо начало этой затертой до дыр рекомендации сулило несусветную чушь. Наверное, он слышал ее в каком-нибудь фильме.

– Ну, эти надежды мы все когда-то подавали, – сказал хозяин бороды и зашелся тяжелым кашлем. – Юра, – добавил он, потоптался, повел бородой по пустым стенам, как бы желая спросить отзывы, но стесняясь.

– В этом искусстве много сложной философии, – уклончиво молвил я.

Он посмотрел на меня как архиерей на старообрядца – пристально и настороженно, стараясь взвесить меру иронии, но улыбнулся снисходительной улыбкой светского человека.

Паша, наверное, переживал тяжкие минуты. Было хорошо видно, что ему за меня стыдно. Юра по-прежнему натянуто улыбался.

– Хотите вина? – спохватился он.

В ту же минуту в наших руках оказались пластмассовые стаканчики.

– Молдавское, – поспешно сообщил Юра, прочитав вопрос в легком движении лицевых мускулов. – «Кодру».

Очень скоро Юра нас оставил. Мы торчали посреди зала в своих пиджаках, словно и сами превратились в экспонаты этой странной выставки – в экспонаты, до которых никому нет дела, напоминающие к тому же сотрудников известных органов на детском празднике. То и дело возбужденный гул взрывался всполохами хохота, а квадратные метры задыхались от сомнительных благоволий, и пустота просачивалась сквозь голые стены, словно кровь, пот и слезы красивших их маляров.

Однако искусство искусством, а жизнь ковыляла своим чередом. Я хочу сказать, что за первым стаканчиком последовал второй, а там и третий, и следующий по счету. Точнее, стаканчик-то был один – все тот же пластмассовый. Каким-то образом я оказался вовлеченным в разговоры с людьми, с первого раза показавшимися мне очень знающими.

– Граббе зря написал эту статью, – говорили мне. – Знаете Граббе? Нельзя писать о том, чего не знаешь! Нельзя.

Граббе я не знал, статьи его не читал, однако постарался ответить таким образом, чтобы в случае чего не сойти за обманщика.

Мой неизвестный собеседник распалился не на шутку и потрясал номером «Газеты». Я подливал горячего в его праведное негодование и вместе с ним безжалостно судил проступок неведомого мне Граббе.

В эти минуты у входа образовалось скопление людей – как будто две волны встретились и столкнулись, рассыпая сотни брызг.

– О-па, – обрадованно воскликнул толстяк. – Минутку. – Он протиснулся к этому скоплению.

Я посмотрел туда, куда он указал, и увидел человека лет сорока в грубом сером свитере, висевшем на острых плечах, как поникший парус. На локтях свитера были нашиты кожаные кружки. Цвет лица у него был нездоровый, и глаза окружали темные овалы. Глаза были совершенно неподвижны, их взгляд выражал какую-то отрешенную усталость, пока он разговаривал с толстяком, они смотрели куда-то в сторону и жили жизнью, самостоятельной от всего остального.

– Кто это? – спросил я, когда толстяк снова оказался возле.

– Это гений. – В его взгляде появилось умиление, которое так хорошо дается полным людям.

В этот момент гений прошел совсем рядом, и я хорошо видел его остановившиеся глаза.

– Придуманное искусство – это уже не искусство, – заметил мой новый знакомый.

Очередная порция рубинового вина смягчила мою нетерпимость. С этой минуты я принялся разглядывать экспозицию несколько более благосклонно, но еще позволял себе рассуждать:

– Как на это посмотреть. Это ведь тоже придумать надо: ветку спилить, скотч купить. Ю-то что об этом говорит? – сказал я, робко поглядывая на гения, безжизненную руку которого вот уже минуту безжалостно трясла и мяла какая-то пожилая женщина с пучком седых волос на затылке и кошельком из джинсовой ткани, который покоился у нее на груди.

Несколько мгновений толстяк осмысливал мои слова, болтая в стаканчике остаток вина, потом спросил:

– Вы кто?

– В каком смысле? Пока никто. Студент вообще-то.

Толстяк покачал головой с таким видом, как будто знал ответ наперед. Он стряхнул со своей лоскутной жилетки черные капли пролитого вина и заговорил уже спокойнее:

– Губит людей социология, губит.

В этот момент гений прошел еще ближе, и я хорошо видел, с каким мучением ему давался каждый шаг. Очевидно, он слышал мои слова, потому что повернулся и посмотрел на меня своими студеными глазами. Они были настолько неподвижны, что нельзя было разобрать, какое выражение скрывается в этом взгляде.

– А вы что же, в самом деле смысла ищете? – спросил толстяк миролюбиво.

– Боюсь, что так, – ответил я.

– Это все социология, – снова сказал он. – Подумать только.

Мне показалось, что он вот-вот заплачет – так проникновенно это прозвучало, и я ощутил, что неизлечимо болен социологией.

– Вот, кстати, и Граббе...

Голова моя сокрушенно закачалась, словно давая понять, что я очень разделяю его недоверие относительно человеческого рода, по крайней мере относительно некоторых его

представителей. Я еще пытался защитить принципы, но при виде всеобщего воодушевления махнул рукой и, потягивая искрометное, соглашался решительно со всем. Пустота стен казалась мне уже исполненной вдохновенного, первозданного смысла. «Надо же, – думал я, – ничего лишнего, святая простота», а ветку на куске картона я соединил с удивительной волей мужественного творца. Мне показалось даже, что на мгновение и я усмотрел в ней смысл – тоже первозданный. Она казалась мне образом, символом, знаком. Мой собеседник почувствовал слабину и глухо зарычал:

- Вербальная культура умирает, визуальная наступает.
- А то нет, – милостиво согласился я.
- Никто больше ничего не читает. Буква шелухой становится.
- Еще бы, – отвечал я с воодушевлением. – В самый корень глядите. Вокруг бурлило море общения. В гомоне голосов я различал свой собственный:
- Сюжет умер, фабула сгнила – все передохло. Впрочем, туда и дорога.

Белые стены еще оставались белыми и блестели масляной краской, сияние их ослепляло, но потом стены потекли и накренились. Потом пропал Паша, и я понял, что катастрофа близка. Дальше пошло уже не кино, а настоящий фотофильм. Живые картины сменяли друг друга в последовательности непризнанного искусства...

Помню еще высоченные потолки абсолютно незнакомой квартиры, куда мой пьяный взгляд просто не дотягивался, в желто-зеленых потеках и хлопьях вздувшейся и отставшей побелки. Я был представлен каким-то людям, восседавшим, как судилище, за огромным кухонным непокрытым столом, – впрочем, готов присягнуть, что никого не интересовало, кто я таков. У стены размещался дубовый резной буфет – мне казалось, что он вот-вот свалится мне на голову, когда кто-нибудь, выбираясь из-за стола, случайно его задевал, и он, громыхая скрытой за дверцами посудой, трепетал и трясся, как анатомический скелет.

Напротив меня восседали невозмутимые и неразговорчивые молодые люди и время от времени прикладывались к стаканам, совершая сдержанные, изящные глотки. Если на свете еще есть те англичане, которых так любили унижать в прошлом столетии все остальные, то мне казалось – это именно они. Их невозмутимость и безразличное достоинство обнаруживали способность укрощать безумства общения. Впрочем, они назвались драматургами, а неумная хохотушка, руководившая весельем, оказалась ведущей какой-то радиопрограммы.

– Где мы? – осведомлялся я через каждые три минуты.

– Мы на Рождественском бульваре, – терпеливо поясняла какая-то незнакомка, – у меня в гостях.

Какие-то люди приходили и уходили, был еще какой-то ребенок, мелькала женщина в халате – совершенно из другой оперы, один раз ухнула пробка из-под шампанского, но вот пил ли я его, этого я – как говорили много лет назад уничижители англичан – решительно не умею сказать.

– Где Паша? – мусолил я свой неразрешимый вопрос.

Драматурги смотрели на меня укоризненно.

– Какой еще Паша? – удивлялась радиожурналистка и, не глядя на стаканы, добавляла в них бурой жидкости.

– Надо же! – восклицал я, прихлебывая. – А мне всегда казалось, что я ненавижу виски!

Радиожурналистка хохотала и плескала на стол неизъяснимо отрицательный напиток. Драматурги все время молчали и только пускали дым. Потом они куда-то ушли...

Мы с радиожурналисткой сидели на мокрой скамье, рядом стояли пресловутые пластиковые стаканчики и все время падали, до тех пор, пока коктейль из водки, дождевой воды и прелых листьев не придавил их наконец к скользкому дереву. Она почему-то плакала и беспрестанно твердила: «Бунюэль – стерильность кадра» (знаки препинания здесь, конечно,

условность). А я говорил: «Дух изгнания» – и пытался то ли высказать какую-то застарелую обиду, уже и не помню на кого, то ли сделать из нее союзницу в каком-то жестоком и принципиальном споре. И мне казалось, что, наверно, это очень романтично и совсем не плохо – быть Демоном и парить над землей, презрительно поплеывая вниз. Напоследок небесные хляби разверзлись и окропили нас материнским сочувствием природы. Так плакала осень, и мы плакали вместе с ней.

Очнулся я дома.

Утром, если четыре часа пополудни можно считать утром, я дал себе три клятвы: первая – никогда не пить никакой жидкости крепче кефира, вторая – прекратить эти дурацкие уроки, но выполнил только последнюю, а именно: к вечеру привел себя в порядок и крепко стоял на ногах. Моя одежда оставалась у Павла, и ее нужно было выручать, ибо я совсем не привык к представительским костюмам. К тому же один из них – именно тот, который я познал в эту волшебную ночь, нуждался в серьезной чистке. Схватив свою голову в руки и следя за тем, чтобы она не раскололась, как переспелый арбуз, я побрел в контору, по три раза останавливаясь в каждой подворотне. В конторе было, как всегда, пусто, только Алла сидела за своим столом и, глядя в маленькое зеркальце, подкрашивала губы.

«Чего они все красятся?» – злобно подумал я, будто мне было до этого дело.

Алла предостерегающе кашлянула, энергично потерла губу о губу, спрятала зеркальце и сказала:

– Он не один.

Я отпрыгнул от двери, как тактичный кузнецик.

– Да нет, – строго сказала она. – Там режиссер. Денег просит на фильм.

– На какой еще фильм?

– Ну, фильм он хочет снять, кино. На съемки.

Я распахнул дверь. Павел важно сидел в кресле, словно первый секретарь горкома средней руки, и внимательно слушал длинноволосого молодого человека, бродившего по комнате и потрясавшего папкой из черного дерматина, откуда загнутым углом, как манишка из смокинга, выглядывала девственно-белая бумага.

– ...Виктор дотрагивается до нее... – Режиссер оглянулся на шум и замолчал.

– Виктор ее трогает... – напомнил Павел, весело на меня взглядывая.

– Не трогает, а дотрагивается до нее, – с плохо скрытым неудовольствием уточнил кинематографист. – Дальше...

– А зачем он ее убивает? – перебил вдруг Павел. – Можно же, наверное, как-нибудь по-другому решить вопрос.

Режиссер опешил и несколько мгновений не произносил ни звука.

– Но ведь он – киллер, профессиональный убийца, – невнятно молвил он. – Это же сценарий... – начал он, однако тут же сник.

Я слушал этот диалог, мои глаза метались между ними, потом в ожидании усталились на режиссера, а режиссер смотрел на картины, изображающие нечто, с тоской и сочувствием.

– Почему бы им не полюбить друг друга? – спросил Павел и ткнул пальцем в страницу сценария.

– И пожениться, – с тихим презрением добавил режиссер.

– А что? – невозмутимо воскликнул Павел. – Жениться-то надо. Никуда не денешься. – Сказано это было с трогательным смирением перед глупыми людскими обычаями.

Паша обладал драгоценным свойством пленять сердца нестяжательной внешностью и простотой – он не боялся казаться смешным. Это подкупает людей, как будто давая им чувство превосходства, а главное, успокаивает, если они верят неподдельности таких проявлений, и люди мягчают в ответ.

– Что значит – надо? Не надо, – обреченно упрямотствовал режиссер.

– Почему это?

– Такова жизнь, – коротко, но емко, как сам кинематограф, ответил тот.

– Неужели у жизни не бывает хороших концов? – вздохнул Павел.

– Это не жизнь, – хмуро отбивался режиссер, – это искусство.

– Да вы не сердитесь, – сказал Павел значительно мягче, – я в этом ничего не понимаю.

– Тут чувствовать надо, – тихо ответил режиссер.

– И не чувствую, – радостно подхватил Павел. – Вон у меня специальный человек, – он повел головой в мою сторону, – чтобы все пояснять. Человек, что ты скажешь?

Режиссер недоверчиво на меня посмотрел, уверенный, что перед ним ломают комедию.

Я, как ни был возмущен таким поворотом, постарался придать своей физиономии безразличную значительность критика и сноба и не знал, как бы поправдоподобней отразить на ней неизбежную думу об искусстве. Более того, я вспомнил, что, согласно Бодлеру, человеческое лицо призвано отражать звезды, но звезд под рукой не было, и я, как смог, отразил прохладный свет неоновой лампы.

– А в чем спор? – полюбопытствовал я небрежно.

Режиссер молчал, устремив глаза горе, словно призывая в свидетели нерожденную десятую музу и ее стареньких сестричек.

– Ну хорошо, – сказал Павел, – все хорошо, все, в общем, у нас получается, позвоните двадцать первого. А сценарий оставьте.

– Слушай, – обратился он ко мне свои сомнения, когда режиссер нас покинул. – Я что-то не пойму. Мы вот с тобой изучаем литературу, все такое... Там все про любовь или про... – Он замялся, подыскивая слово.

– Про все такое, – помог я.

– Вот-вот. Да и люди все порядочные. Ну, Сонька там проститутка, ну это ладно... А сейчас – он ее убивает, они его убивают. Он мне говорит, режиссер, что в этом фильме... как его... американца какого-то... – сморщился он, – сто шесть убийств – это подсчитано. А у нас, сказал, будет на два больше. Сто восемь жмуриков, – промолвил Павел, безразлично поджав губы. – Целая рота, даже больше.

– Жанр, наверно, такой, – ответил я неуверенно. – Надо быть солидней, – с издевкой указал я на картины. – Пока эта гадость будет здесь висеть, так они и будут ходить и просить на свои убийства.

Павел поднялся с кресла, сунул руки в карманы брюк и остановился напротив своих живописных шедевров.

– Да ты знаешь, сколько они стоят?! – возмутился он.

– Ты мне говорил, – напомнил я. – Но надо заменить.

– Но я не хочу про убийства. – Он выругался. – Я хочу про любовь. Расскажи мне про любовь, друг.

– Расскажу, – буркнул я обреченно.

И я в нарушение графика рассказал ему, что однажды над морем парили паруса, такие же алые, как губная помада фирмы «Ревлон». Паша ничего на это не сказал, но я понял, что история пришлась ему по душе.

– Я хочу море, – решил он. – Давай купим море. Хорошее море.

Мы бросились на поиски моря, в один день объехав девять антикварных магазинов. Нашим взорам представляли орденосцы, роконосы, домохозяйки в чепцах и даже один поручик в распахнутом сюртуке, как две капли воды похожий на Лермонтова, – без сомнения, все жестокие крепостники, самодуры и красноносые пьяницы.

Вперемежку с тяжелыми канделябрами, которыми, наверное, аристократы били по головам подневольных актрис и совращенных горничных, нашлись и пейзажи на любой вкус, но только не на наш: пашни густого коричневого цвета да бесчисленные деревеньки – истонная прелесть русских мест.

За деревеньками державно стояли еловые стены и нагие березовые рощи томились светлой любовью, раскрывали свои клювы неперменные грачи, крупный рогатый скот топтался на миловидных полянках, а в роскошном салоне при «Метрополе» имелось даже альпийское озеро, похожее на опрокинутое и чудом не расколовшееся зеркало, в которое гляделся мрачный донжон. Этот плод болезненной меланхолии под потемневшим лаком нам пытались всучить как образец немецкого романтизма, но мы-то хотели жгучего юга – моря и солнца, отвоёванного нашими предками у горских народов.

– Посмотрите на раму, – говорил продавец с чувством, но вежливо. – Вот это рама.

Однако Павел оказался на высоте и по очереди отверг все притязания хитрых надувал.

– Отвали, – сказал он продавцу.

Человек, возросший на природе, инстинктивно чувствует красоту.

Словом, было все – не было только моря, живого, мутного, покрытого блестящей чешуей волн, сверкающего под солнцем, как кольчуга витязя, как скользкая кожа дракона, на взволнованную поверхность которого можно было красным фломастером подрисовать алые паруса далекого судна, несущего рукотворное чудо.

– Алла, – сказал тогда я, – позвони своему антиквару. Если это удобно.

– Это удобно, – сказала Алла, потянувшись, как кошка, и флегматично потыкала кончиком пальца в кнопки набора.

Ближе к вечеру перезвонил антиквар и пригласил на смотрины.

– «Море» есть? – спросили мы его.

– Есть, – заверил он. – Есть два «моря».

Антиквар жил и работал на Большой Никитской. Когда мы проезжали через площадь, я показал на церковь, одетую в реставрационные леса.

– Смотри быстрее, – вскричал я, – чтоб ты знал. В этой церкви Пушкин венчался.

Павел повернул голову, Чапа притормозил.

– Пушкин был фуфло и баклан, – раздраженно сказал Павел, а Чапа взорвался бешеным хохотом.

Я беспомощно замолчал, уставившись на церковь без крестов, которая спряталась от нашего конкретного времени за строительный забор. Куполок ее был несоразмерен массе трансепта и притвора, как головка крупного животного, вымершего многие тысячи лет тому назад. Сразу за забором вековые тополя, распустив ветви, как наседки свои крылья, охраняли покой традиции.

– Почему баклан? – спросил наконец я.

– Надо было козлу этому голову отстрелить, – сказал Павел. – Этому...

– Дантесу, что ли?

– Да, Дантесу, – значительно проговорил Павел. – И было бы все хорошо. Писал бы свои стихи, и все бы его уважали.

– Существует мнение, – возразил я, – что это было скрытое самоубийство.

– Что-то я не догоняю, – покачал головой Павел.

Мне показалось, что ему до слез жалко Пушкина и что, попадись ему Дантес в каком-нибудь ночном клубе, он не задумываясь его бы прикончил, не прибегая к услугам дуэльного пистолета и глупых формальностей.

– Время было другое, – сказал я. – Понятия другие.

Вообще, глядя Чапе в бритый затылок, я изрекал непозволительно много банальностей, утешаясь единственно тем, что банальности не что иное, как непреложные истины, а они всегда кажутся нам не заслуживающими внимания, потому что пугающе просты.

– Странные понятия, – заметил Павел.

– Здесь вроде, – сказал Чапа и тем положил конец спору. – Приехали.

Мы внимательно осмотрели антикварные «моря», томившиеся за железной дверью, как невольницы в гареме у безобразного султана. Одна картина изображала пустынный берег, каменной трапедией врезающийся в темную поверхность воды, на которой дрожала лунная дорожка и, приспустив косые паруса, дремала фелюга, но Паше понравилась другая – боковой вид с горы, утыканной кипарисами; она, кстати, была и побольше. Ее мы и выбрали и вечером водрузили над письменным столом в Пашином кабинете. Полотна новых кистей – эти мерзкие фавориты дурного вкуса – попали в опалу и были тут же свергнуты в чулан.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.